

# Любовь с волкодавом на плечах

Александр ВАСИНСКИЙ, «Известия»

— 1997 — 16 апр. — С. 7

**Мне на плечи кидается век-волкодав М.Мандельштам.**

Русская красавица Татьяна Окуневская (и по жизни, и в актерском амплу) в равной мере может быть и героиней тургеневской повести, и фигуранткой стильного журнала «Эль», и персонажем солженицынского «Архипелага ГУЛАГ».

При всем том она сегодня стала и автором своего собственного романа. Поразительная женщина, красота которой была разящей и даже провоцировала международные осложнения. В нее «пачками» влюблялись маршалы и штатские, палачи и поэты, партийные бонзы и эски, аристократы и пресловутые «совки». Естественно, безнадежно. Влюблялась ли она сама? Теряла ли голову?

— О, конечно! — отмахиваясь рукой, залихватски смеется — И безумно. Как сумасшедшая! Что вы!

Писавшие об Окуневской особые выделяли два прямо противоположных сюжета — ночь в особняке Лаврентия Берии и романтическое ухаживание Иосипа Броз Тито. Пишущих можно понять — обе фигуры известные и незаурядные, но многое «подано» не так, как было, и лучше всего об этих вещах узнавать из первоисточника, из ее вот-вот выходящего отдельной книгой романа-воспоминания «Татьянин день», где все персонажи выступают под своими подлинными фамилиями.

Прочтите или, вот, услышав от самой Татьяны Кирилловны: человек она прямой, открытый. Если согласилась рассказать — расскажет без утайки. Не захочет — будет «железной, как кровать» (ее выражение).

У всякой женщины — у любой — есть тайны, которыми она тешилась, есть чисто женские сокровенные воспоминания о поклонниках, любовных свиданиях, безумствах, обидах, слезах... И у каждой женщины есть в сердце потайной уголок, наподобие молочки с китом, где она хранит имя (а, может, и не одно) самого дорогого в жизни человека, самогосамого из всех. У Окуневской есть это имя — Алеша, Алексей, лагерный ее возлюбленный. Но, как говорят рассказчики, — об этом чуть позже.

Когда человек живет, не зная своей судьбы, многое в его жизни кажется случайным, игрой прихоти. Замысел providence любит обнаруживать себя не сразу. Замужество Окуневской за процветающим (среди зажатых ртов и царящей бедности) писателем Борисом Горбатовым, положение жены члена ЦК, приемы, спецпайки, ранний успех в кино и театре... все это было не просто жизнью молодой женщины, но и навстречивалось на какую-то таинственную бобину судьбы. Кто знает, может быть, те роскошные розы, только что срезынные, еще в росе, те, которые ей впервые преподнес после московского спектакля гость Кремля маршал Тито, — не актуались ли они баловнице Фортуну потом в бараче Каргопольяга, когда она, зэчка, после этапа вытряхивала из белья кишащие колонии вшей или когда на многочасовом допросе на Лубянке у нее открылось кровотечение и следователь Самарин вдарил сапогом по луже крови, скопившейся у ножек стула, и заорал ей в лицо: «Тенешь, сука!».

Или когда на лесоповале в Ветлаге она упала от бессилия в снег и зэчки встали вместо нее под бревна, чтобы избежать от Бура или этапирования в другую зону, — может быть, из этих еловых бревен в ту ночь прорастали стебли с шипами и алые бутоны свисали в снег головками вниз? В нее влюблялись везде, многие. Нередко это превращалось в муку преследования. Ей интересен человек, она жаждет общения, дружить, но вдруг замечает в его глазах тот сухой блеск, то смутное томление, с которого обозначает себя пробуждающееся, как болезнь, любовное чувство. Об одном человеке, который ей чрезвычайно нравился, Окуневская, желая сказать о нем только хорошее, выразилась так: умен, талантлив, порядочен, все при нем и вдобавок — какое счастье! — он в меня не влюбился!

Как же, видно, донимали ее эти подневольные жертвы ее невольной, не искавшей поклонников красоты! Я упомянул про влюблявшихся палачей. Ради нее, репрессированной, гонимой, кое-кто с большими погонами готов был бросить карьеру, и это о многом говорит, потому что одна похоть на это не способна. Ее красота могла даже злу внушить самоубийственное для зла чувство.

Если кто подумал про всеильного Абакумова, то нет, это был не он. Его мрачная страсть к Окуневской вошла в лагерно-тюремные легенды. Это ее, отошедшую, едва державшуюся от пыток и гонимую на ногах, вводили в его лубянский кабинет, уставленный райскими яствами... нет, не купил он ее, вернее сказать, она не купилась. Когда у злобной похоти не получается «по-хорошему», она прибегает к силе. Что значила пощечина 46-килограммовой зэчки для дубленой свежеевбитой щечки матерого деспота и дегустатора женщин? Химеру отказа? Символ неподчинения? Он, конечно, мог сделать с ней все, что хотел, ведь в этом архипелаге насилия завоеватели считали всех женщин законными пленницами, да и маркитанок у них хватало, но, видимо, тирану хотелось не подневольного смирения. Не получилось. И в его власти было только держать ее 13 месяцев в одиночке, а потом пустить враспыл по лагерям (за 6 лет срока она сменила — ей сменили — 5 лагерей).

Мы сидим в ее маленькой однокомнатной квартирке близ метро «Динамо». Недавно, в марте (она, значит, Рыба), тут чудом разместились на ее 83-летие родные, друзья, милые театральные поклонники «окуневки», существовавшие когда-то в противовес «серовкам», поклонникам Валентины Серовой. Любопытно, что «серовки» и «окуневки» враждовали, а отношения Окуневской и Серовой были прекрасными. Когда-то это были девочки под дождем с цветочком в руке, теперь самым молодым поре — по 65—70...

Хозяйка квартиры, будучи в отличной форме, достигла того возраста, когда уже не скрывают годы, а даже готовы вынашивать паритрой лишние ради облагораживающего эффекта изумления: «Как?! Но вы выглядите на пятьдесят пять!».

Думаю, что и сегодня она не сумеет сыграть 70-летнюю старуху, не сумеет, и все, хотя, например, Марецкой удавалось по-настоящему играть «стареньких» и в 50. Тут дело не в актерском мастерстве, тут загадочная мета природы.

В XX веке среди актрис было много великих красавиц — Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Мерилин Монро, Брижит Бардо... Думаю, наша Татьяна Кирилловна по красоте вполне могла бы вписаться в этот головокружительный ряд. Другое дело, что она не имела тех ролей и возможностей, где бы ее красота возмозно и органично раскрылась. Ей «давали» (за редким исключением) роли средних героев, и что ей было делать с ее сексапильностью (слово не наше, неточное, у нас говорят про «соблазнительную», «желанную»), а ведь это «не полагалось», у нас положено было страстно любить только линию партии и вожда.

Идеологически безадресная сексуальность приравнивалась чуть ли не к... измене Родине. Но даже среди культа бесплодности она высоко пронесла красоту своей природной легки и своего стиля, пока ее грубо не обрили и не обрядили в арестантскую робу. Красота, если она настоящая, т.е. не от Юдашкина и Проктера энд Гэмбл, а от Бога, неистребима — и я уверен, что именно такая — с печатью спасительного страдания — красота наших женщин, наряду с русскими мучениками и святыми XX века, вымалывала для нашей страны какие-то прощенья, пусть малые и краткие, в судьбе.

Алексей она встретила в Каргопольяге в арбтрибиде, составленной из эзков, он играл на аккордеоне. Это была любовь с первого взгляда. «Любил ли тот, кто сразу не влюбился?» У большой любви обычно много завистников. Но и много болельщиков. За любовь Алексея и Тани Окуневской болело ползони. Но они сами не позволили себе счастья. Не только потому, что если бы их увидели из спешности хотя бы державшимися за руки, они были бы тут же разлучены: его — на лесоповал, ее — в другой лагерь. Тая сама наложила страшную епитимию. Шепотом, после репетиции, в полубреду, в первый раз она объяснялась, все поняв про него и про себя: «Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю вас, чтобы вы знали, что я люблю вас...».

Голос ее сорвался: «Любимая, прекрасная, единственная, я совсем сошел с ума, я не знаю, что делать, — услышала она, — все будет, как вы скажете... сколько бы ни прошло лет... полуживой — я буду вас ждать. — И я, и я буду ждать вас до конца своей жизни».

Татьяна Кирилловна подливает мне чая. Последнее время она старается реже «выходить в мир» — боится напориться в магазине или на улице на хамство — и тогда заболеть надолго... Она и выстулать в поездках перестала после того, как в одном городе из зала повалил народ, услышав, что будут читаться стихи Пушкина.

Я вообще не понимала никаких интимных отношений с мужчиной, если это не безумная влюбленность. Вы знаете, я завидую животным. Эта красавица лань

просто романтическое обожание. Ей еще нравилось, что он не боялся появляться в окружении своего блестящего генералитета. Тито ей обещал построить в Загреб студию специально для нее, любимые фильмы, любимые роли... Ради нее он устраивал в «Метрополе» приемы на 300 человек. Он вызвал в Белград на гастроли театр «Ленком», чтобы приехала она. Уже в день вылета к ней подошел Берсенева, тогдашний худрук театра, и сказал, что она должна остаться в Москве. Все улетели, кроме той единственной, ради которой пригласили всех.

Но все-таки не зря Окуневская снималась в фильме «Ночь над Белградом». С Югославией связан ее трагический роман с молодым генералом Владо Поповичем. Красивый «безумный» черногорец крал ее в Москве после спектаклей. Из-за него она собиралась уйти из дома и жить в гостинице. Она никого не обманывала. Ордер

детей, а перед природой, перед идеей жизни, понимаете? Только после освобождения из лагеря, уже из архивов «Мемориала», она узнала, что ее обожаемого отца расстреляли вместе с большой группой узников прямо на Ваганьковском кладбище, у заране вырытого рва. Репрессированы были и ее любимый брат Лева, другие родственники. Я думаю, что если бы даже никто из ее семьи не пострадал, она б все равно этот режим не любила. Трудно поверить, но Татьяна Кирилловна считает, что это ей Бог послал арест и лагеря, чтобы порхавшая с цветка на цветок стрекоза узнала свою страну, свой народ, саму себя. Судьба берегла ее среди опасностей. Даже многих не жалевшие блатные зэчки в Свердловском пересыльке, поначалу уготовив политической место у параша, вскоре закинули ее на почетную верхнюю нару к струйке воздуха у окна, где на подоконнике выдавили ее фамилию рядом с фамилией Лидии Руслановой (как пересекаются людские маршруты).

## Они, созданные друг для друга, — женщина всегда чувствует своего мужчину — эти двое, сходя с ума от любви, не позволили себе близости там, в лагере.

на ее арест подписал сам Абакумов. — Почему, — спрашиваю, — большая любовь — это все-таки редкость? — Потому что любовь это дар Божий, — ответила Окуневская. И как-то стало понятнее, почему такая любовь преодолевает непреодолимое и почему ей даже помогает то, что у других мешает чувство, губит его. Сколько любовных лодок разбилось о быт, да что лодок — любовных флотилий. Но там, где дано свыше, чувство, не ведая стыда, расцветает и среди страшного мора.

Алексей она встретила в Каргопольяге в арбтрибиде, составленной из эзков, он играл на аккордеоне. Это была любовь с первого взгляда. «Любил ли тот, кто сразу не влюбился?» У большой любви обычно много завистников. Но и много болельщиков. За любовь Алексея и Тани Окуневской болело ползони. Но они сами не позволили себе счастья. Не только потому, что если бы их увидели из спешности хотя бы державшимися за руки, они были бы тут же разлучены: его — на лесоповал, ее — в другой лагерь. Тая сама наложила страшную епитимию. Шепотом, после репетиции, в полубреду, в первый раз она объяснялась, все поняв про него и про себя: «Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю вас, чтобы вы знали, что я люблю вас, чтобы вы знали, что я люблю вас, чтобы вы знали, что я люблю вас...».

Голос ее сорвался: «Любимая, прекрасная, единственная, я совсем сошел с ума, я не знаю, что делать, — услышала она, — все будет, как вы скажете... сколько бы ни прошло лет... полуживой — я буду вас ждать. — И я, и я буду ждать вас до конца своей жизни».

Татьяна Кирилловна подливает мне чая. Последнее время она старается реже «выходить в мир» — боится напориться в магазине или на улице на хамство — и тогда заболеть надолго... Она и выстулать в поездках перестала после того, как в одном городе из зала повалил народ, услышав, что будут читаться стихи Пушкина.

Я вообще не понимала никаких интимных отношений с мужчиной, если это не безумная влюбленность. Вы знаете, я завидую животным. Эта красавица лань

просто романтическое обожание. Ей еще нравилось, что он не боялся появляться в окружении своего блестящего генералитета. Тито ей обещал построить в Загреб студию специально для нее, любимые фильмы, любимые роли... Ради нее он устраивал в «Метрополе» приемы на 300 человек. Он вызвал в Белград на гастроли театр «Ленком», чтобы приехала она. Уже в день вылета к ней подошел Берсенева, тогдашний худрук театра, и сказал, что она должна остаться в Москве. Все улетели, кроме той единственной, ради которой пригласили всех.

Но все-таки не зря Окуневская снималась в фильме «Ночь над Белградом». С Югославией связан ее трагический роман с молодым генералом Владо Поповичем. Красивый «безумный» черногорец крал ее в Москве после спектаклей. Из-за него она собиралась уйти из дома и жить в гостинице. Она никого не обманывала. Ордер

детей, а перед природой, перед идеей жизни, понимаете? Только после освобождения из лагеря, уже из архивов «Мемориала», она узнала, что ее обожаемого отца расстреляли вместе с большой группой узников прямо на Ваганьковском кладбище, у заране вырытого рва. Репрессированы были и ее любимый брат Лева, другие родственники. Я думаю, что если бы даже никто из ее семьи не пострадал, она б все равно этот режим не любила. Трудно поверить, но Татьяна Кирилловна считает, что это ей Бог послал арест и лагеря, чтобы порхавшая с цветка на цветок стрекоза узнала свою страну, свой народ, саму себя. Судьба берегла ее среди опасностей. Даже многих не жалевшие блатные зэчки в Свердловском пересыльке, поначалу уготовив политической место у параша, вскоре закинули ее на почетную верхнюю нару к струйке воздуха у окна, где на подоконнике выдавили ее фамилию рядом с фамилией Лидии Руслановой (как пересекаются людские маршруты).

Ей хотелось бы привести один абзац из ее повести, конец главы. Каргопольяг. Ее подводит к двери, прошла по всем столичным и северным тюрьмам и лагерям), и вот-вот знаку, что там, на воле, 12 часов ночи, в камере пошла по рукам железная кружка с водой, а Окуневская в темноте зашептала для всех, поклявшихся, что никто не будет плакать, по крайней мере вслух, — слышно было, как слезы капали в кружку, — строки Пушкина: «Товарищ, верь!.. Взойдет она...». Все взялись за руки, как единый человеческий комок. «...и на обломках самовластия напишут н-а-ш-и имена...». Кто-то не выдержал, зарыдал. Эх, Александр Сергеевич, знали б вы, что свободу восславляли не только в свой жестокий век, а прихватили и следующий...

Между прочим, среди женщин, сидевших «за любовь», была и моя сестра Светлана. Отбыла срок в 19 лет за то, что в кино с ней позамкомился и проводил до дома французский лейтенант из страны-союзника. Освободилась она тоже по амнистии. С вокзала шла пешком к улице Чайковского. При переходе на Садовом кольце ее на середине

не проезжей части застал красный свет светофора. Было лето. Шоферы кричали: «Ну куда, дура, прешься под колеса!», другие что-то кричали без зла, заигрывая с красивой и странно одетой тенью, в глазах которой стояли слезы. Она плакала, потому что только после шоферских безобидных реплик на том перекрестке поняла, что освободилась, что на воле, на свободе. Освободилась она с подружкой-москвичкой, у которой срок был 15 лет, а отсидела она 9. Ее в лагере звали «куклой», т.к. она плотно завязывала лицо платком, натягивая кожу, и не снимала его (чтобы долгие сохранилась за долгие годы отсыдки). У нее в Москве был жених, он все эти годы писал ей, что любит, ждет, и она этим жила. О том, что освободилась, ему не сообщила, хотела «упасть как с неба», прямо с вокзала к нему... а оказалось, что он уж как четыре года женат, а в лагерь ей писал, чтобы поддержать зэчек в переполненной камере Бутырки в ночь на новый 1950 год, когда узницы вымыли пол, надели чистое белье, выстиранное накануне в полоскательницах. Окуневская была в белой кофточке, кулленной в Вене (тоже ведь сюжет — кофточка-иностранка, а отсидела с русской артисткой по полному сроку, прошла по всем столичным и северным тюрьмам и лагерям), и вот-вот знаку, что там, на воле, 12 часов ночи, в камере пошла по рукам железная кружка с водой, а Окуневская в темноте зашептала для всех, поклявшихся, что никто не будет плакать, по крайней мере вслух, — слышно было, как слезы капали в кружку, — строки Пушкина: «Товарищ, верь!.. Взойдет она...». Все взялись за руки, как единый человеческий комок. «...и на обломках самовластия напишут н-а-ш-и имена...». Кто-то не выдержал, зарыдал. Эх, Александр Сергеевич, знали б вы, что свободу восславляли не только в свой жестокий век, а прихватили и следующий...

Между прочим, среди женщин, сидевших «за любовь», была и моя сестра Светлана. Отбыла срок в 19 лет за то, что в кино с ней позамкомился и проводил до дома французский лейтенант из страны-союзника. Освободилась она тоже по амнистии. С вокзала шла пешком к улице Чайковского. При переходе на Садовом кольце ее на середине

не проезжей части застал красный свет светофора. Было лето. Шоферы кричали: «Ну куда, дура, прешься под колеса!», другие что-то кричали без зла, заигрывая с красивой и странно одетой тенью, в глазах которой стояли слезы. Она плакала, потому что только после шоферских безобидных реплик на том перекрестке поняла, что освободилась, что на воле, на свободе. Освободилась она с подружкой-москвичкой, у которой срок был 15 лет, а отсидела она 9. Ее в лагере звали «куклой», т.к. она плотно завязывала лицо платком, натягивая кожу, и не снимала его (чтобы долгие сохранилась за долгие годы отсыдки). У нее в Москве был жених, он все эти годы писал ей, что любит, ждет, и она этим жила. О том, что освободилась, ему не сообщила, хотела «упасть как с неба», прямо с вокзала к нему... а оказалось, что он уж как четыре года женат, а в лагерь ей писал, чтобы поддержать зэчек в переполненной камере Бутырки в ночь на новый 1950 год, когда узницы вымыли пол, надели чистое белье, выстиранное накануне в полоскательницах. Окуневская была в белой кофточке, кулленной в Вене (тоже ведь сюжет — кофточка-иностранка, а отсидела с русской артисткой по полному сроку, прошла по всем столичным и северным тюрьмам и лагерям), и вот-вот знаку, что там, на воле, 12 часов ночи, в камере пошла по рукам железная кружка с водой, а Окуневская в темноте зашептала для всех, поклявшихся, что никто не будет плакать, по крайней мере вслух, — слышно было, как слезы капали в кружку, — строки Пушкина: «Товарищ, верь!.. Взойдет она...». Все взялись за руки, как единый человеческий комок. «...и на обломках самовластия напишут н-а-ш-и имена...». Кто-то не выдержал, зарыдал. Эх, Александр Сергеевич, знали б вы, что свободу восславляли не только в свой жестокий век, а прихватили и следующий...

Между прочим, среди женщин, сидевших «за любовь», была и моя сестра Светлана. Отбыла срок в 19 лет за то, что в кино с ней позамкомился и проводил до дома французский лейтенант из страны-союзника. Освободилась она тоже по амнистии. С вокзала шла пешком к улице Чайковского. При переходе на Садовом кольце ее на середине

не проезжей части застал красный свет светофора. Было лето. Шоферы кричали: «Ну куда, дура, прешься под колеса!», другие что-то кричали без зла, заигрывая с красивой и странно одетой тенью, в глазах которой стояли слезы. Она плакала, потому что только после шоферских безобидных реплик на том перекрестке поняла, что освободилась, что на воле, на свободе. Освободилась она с подружкой-москвичкой, у которой срок был 15 лет, а отсидела она 9. Ее в лагере звали «куклой», т.к. она плотно завязывала лицо платком, натягивая кожу, и не снимала его (чтобы долгие сохранилась за долгие годы отсыдки). У нее в Москве был жених, он все эти годы писал ей, что любит, ждет, и она этим жила. О том, что освободилась, ему не сообщила, хотела «упасть как с неба», прямо с вокзала к нему... а оказалось, что он уж как четыре года женат, а в лагерь ей писал, чтобы поддержать зэчек в переполненной камере Бутырки в ночь на новый 1950 год, когда узницы вымыли пол, надели чистое белье, выстиранное накануне в полоскательницах. Окуневская была в белой кофточке, кулленной в Вене (тоже ведь сюжет — кофточка-иностранка, а отсидела с русской артисткой по полному сроку, прошла по всем столичным и северным тюрьмам и лагерям), и вот-вот знаку, что там, на воле, 12 часов ночи, в камере пошла по рукам железная кружка с водой, а Окуневская в темноте зашептала для всех, поклявшихся, что никто не будет плакать, по крайней мере вслух, — слышно было, как слезы капали в кружку, — строки Пушкина: «Товарищ, верь!.. Взойдет она...». Все взялись за руки, как единый человеческий комок. «...и на обломках самовластия напишут н-а-ш-и имена...». Кто-то не выдержал, зарыдал. Эх, Александр Сергеевич, знали б вы, что свободу восславляли не только в свой жестокий век, а прихватили и следующий...

Между прочим, среди женщин, сидевших «за любовь», была и моя сестра Светлана. Отбыла срок в 19 лет за то, что в кино с ней позамкомился и проводил до дома французский лейтенант из страны-союзника. Освободилась она тоже по амнистии. С вокзала шла пешком к улице Чайковского. При переходе на Садовом кольце ее на середине

не проезжей части застал красный свет светофора. Было лето. Шоферы кричали: «Ну куда, дура, прешься под колеса!», другие что-то кричали без зла, заигрывая с красивой и странно одетой тенью, в глазах которой стояли слезы. Она плакала, потому что только после шоферских безобидных реплик на том перекрестке поняла, что освободилась, что на воле, на свободе. Освободилась она с подружкой-москвичкой, у которой срок был 15 лет, а отсидела она 9. Ее в лагере звали «куклой», т.к. она плотно завязывала лицо платком, натягивая кожу, и не снимала его (чтобы долгие сохранилась за долгие годы отсыдки). У нее в Москве был жених, он все эти годы писал ей, что любит, ждет, и она этим жила. О том, что освободилась, ему не сообщила, хотела «упасть как с неба», прямо с вокзала к нему... а оказалось, что он уж как четыре года женат, а в лагерь ей писал, чтобы поддержать зэчек в переполненной камере Бутырки в ночь на новый 1950 год, когда узницы вымыли пол, надели чистое белье, выстиранное накануне в полоскательницах. Окуневская была в белой кофточке, кулленной в Вене (тоже ведь сюжет — кофточка-иностранка, а отсидела с русской артисткой по полному сроку, прошла по всем столичным и северным тюрьмам и лагерям), и вот-вот знаку, что там, на воле, 12 часов ночи, в камере пошла по рукам железная кружка с водой, а Окуневская в темноте зашептала для всех, поклявшихся, что никто не будет плакать, по крайней мере вслух, — слышно было, как слезы капали в кружку, — строки Пушкина: «Товарищ, верь!.. Взойдет она...». Все взялись за руки, как единый человеческий комок. «...и на обломках самовластия напишут н-а-ш-и имена...». Кто-то не выдержал, зарыдал. Эх, Александр Сергеевич, знали б вы, что свободу восславляли не только в свой жестокий век, а прихватили и следующий...

не проезжей части застал красный свет светофора. Было лето. Шоферы кричали: «Ну куда, дура, прешься под колеса!», другие что-то кричали без зла, заигрывая с красивой и странно одетой тенью, в глазах которой стояли слезы. Она плакала, потому что только после шоферских безобидных реплик на том перекрестке поняла, что освободилась, что на воле, на свободе. Освободилась она с подружкой-москвичкой, у которой срок был 15 лет, а отсидела она 9. Ее в лагере звали «куклой», т.к. она плотно завязывала лицо платком, натягивая кожу, и не снимала его (чтобы долгие сохранилась за долгие годы отсыдки). У нее в Москве был жених, он все эти годы писал ей, что любит, ждет, и она этим жила. О том, что освободилась, ему не сообщила, хотела «упасть как с неба», прямо с вокзала к нему... а оказалось, что он уж как четыре года женат, а в лагерь ей писал, чтобы поддержать зэчек в переполненной камере Бутырки в ночь на новый 1950 год, когда узницы вымыли пол, надели чистое белье, выстиранное накануне в полоскательницах. Окуневская была в белой кофточке, кулленной в Вене (тоже ведь сюжет — кофточка-иностранка, а отсидела с русской артисткой по полному сроку, прошла по всем столичным и северным тюрьмам и лагерям), и вот-вот знаку, что там, на воле, 12 часов ночи, в камере пошла по рукам железная кружка с водой, а Окуневская в темноте зашептала для всех, поклявшихся, что никто не будет плакать, по крайней мере вслух, — слышно было, как слезы капали в кружку, — строки Пушкина: «Товарищ, верь!.. Взойдет она...». Все взялись за руки, как единый человеческий комок. «...и на обломках самовластия напишут н-а-ш-и имена...». Кто-то не выдержал, зарыдал. Эх, Александр Сергеевич, знали б вы, что свободу восславляли не только в свой жестокий век, а прихватили и следующий...

Между прочим, среди женщин, сидевших «за любовь», была и моя сестра Светлана. Отбыла срок в 19 лет за то, что в кино с ней позамкомился и проводил до дома французский лейтенант из страны-союзника. Освободилась она тоже по амнистии. С вокзала шла пешком к улице Чайковского. При переходе на Садовом кольце ее на середине

не проезжей части застал красный свет светофора. Было лето. Шоферы кричали: «Ну куда, дура, прешься под колеса!», другие что-то кричали без зла, заигрывая с красивой и странно одетой тенью, в глазах которой стояли слезы. Она плакала, потому что только после шоферских безобидных реплик на том перекрестке поняла, что освободилась, что на воле, на свободе. Освободилась она с подружкой-москвичкой, у которой срок был 15 лет, а отсидела она 9. Ее в лагере звали «куклой», т.к. она плотно завязывала лицо платком, натягивая кожу, и не снимала его (чтобы долгие сохранилась за долгие годы отсыдки). У нее в Москве был жених, он все эти годы писал ей, что любит, ждет, и она этим жила. О том, что освободилась, ему не сообщила, хотела «упасть как с неба», прямо с вокзала к нему... а оказалось, что он уж как четыре года женат, а в лагерь ей писал, чтобы поддержать зэчек в переполненной камере Бутырки в ночь на новый 1950 год, когда узницы вымыли пол, надели чистое белье, выстиранное накануне в полоскательницах. Окуневская была в белой кофточке, кулленной в Вене (тоже ведь сюжет — кофточка-иностранка, а отсидела с русской артисткой по полному сроку, прошла по всем столичным и северным тюрьмам и лагерям), и вот-вот знаку, что там, на воле, 12 часов ночи, в камере пошла по рукам железная кружка с водой, а Окуневская в темноте зашептала для всех, поклявшихся, что никто не будет плакать, по крайней мере вслух, — слышно было, как слезы капали в кружку, — строки Пушкина: «Товарищ, верь!.. Взойдет она...». Все взялись за руки, как единый человеческий комок. «...и на обломках самовластия напишут н-а-ш-и имена...». Кто-то не выдержал, зарыдал. Эх, Александр Сергеевич, знали б вы, что свободу восславляли не только в свой жестокий век, а прихватили и следующий...

Между прочим, среди женщин, сидевших «за любовь», была и моя сестра Светлана. Отбыла срок в 19 лет за то, что в кино с ней позамкомился и проводил до дома французский лейтенант из страны-союзника. Освободилась она тоже по амнистии. С вокзала шла пешком к улице Чайковского. При переходе на Садовом кольце ее на середине

не проезжей части застал красный свет светофора. Было лето. Шоферы кричали: «Ну куда, дура, прешься под колеса!», другие что-то кричали без зла, заигрывая с красивой и странно одетой тенью, в глазах которой стояли слезы. Она плакала, потому что только после шоферских безобидных реплик на том перекрестке поняла, что освободилась, что на воле, на свободе. Освободилась она с подружкой-москвичкой, у которой срок был 15 лет, а отсидела она 9. Ее в лагере звали «куклой», т.к. она плотно завязывала лицо платком, натягивая кожу, и не снимала его (чтобы долгие сохранилась за долгие годы отсыдки). У нее в Москве был жених, он все эти годы писал ей, что любит, ждет, и она этим жила. О том, что освободилась, ему не сообщила, хотела «упасть как с неба», прямо с вокзала к нему... а оказалось, что он уж как четыре года женат, а в лагерь ей писал, чтобы поддержать зэчек в переполненной камере Бутырки в ночь на новый 1950 год, когда узницы вымыли пол, надели чистое белье, выстиранное накануне в полоскательницах. Окуневская была в белой кофточке, кулленной в Вене (тоже ведь сюжет — кофточка-иностранка, а отсидела с русской артисткой по полному сроку, прошла по всем столичным и северным тюрьмам и лагерям), и вот-вот знаку, что там, на воле, 12 часов ночи, в камере пошла по рукам железная кружка с водой, а Окуневская в темноте зашептала для всех, поклявшихся, что никто не будет плакать, по крайней мере вслух, — слышно было, как слезы капали в кружку, — строки Пушкина: «Товарищ, верь!.. Взойдет она...». Все взялись за руки, как единый человеческий комок. «...и на обломках самовластия напишут н-а-ш-и имена...». Кто-то не выдержал, зарыдал. Эх, Александр Сергеевич, знали б вы, что свободу восславляли не только в свой жестокий век, а прихватили и следующий...

Между прочим, среди женщин, сидевших «за любовь», была и моя сестра Светлана. Отбыла срок в 19 лет за то, что в кино с ней позамкомился и проводил до дома французский лейтенант из страны-союзника. Освободилась она тоже по амнистии. С вокзала шла пешком к улице Чайковского. При переходе на Садовом кольце ее на середине

не проезжей части застал красный свет светофора. Было лето. Шоферы кричали: «Ну куда, дура, прешься под колеса!», другие что-то кричали без зла, заигрывая с красивой и странно одетой тенью, в глазах которой стояли слезы. Она плакала, потому что только после шоферских безобидных реплик на том перекрестке поняла, что освободилась, что на воле, на свободе. Освободилась она с подружкой-москвичкой, у которой срок был 15 лет, а отсидела она 9. Ее в лагере звали «куклой», т.к. она плотно завязывала лицо платком, натягивая кожу, и не снимала его (чтобы долгие сохранилась за долгие годы отсыдки). У нее в Москве был жених, он все эти годы писал ей, что любит, ждет, и она этим жила. О том, что освободилась, ему не сообщила, хотела «упасть как с неба», прямо с вокзала к нему... а оказалось, что он уж как четыре года женат, а в лагерь ей писал, чтобы поддержать зэчек в переполненной камере Бутырки в ночь на новый 1950 год, когда узницы вымыли пол, надели чистое белье, выстиранное накануне в полоскательницах. Окуневская была в белой кофточке, кулленной в Вене (тоже ведь сюжет — кофточка-иностранка, а отсидела с русской артисткой по полному сроку, прошла по всем столичным и северным тюрьмам и лагерям), и вот-вот знаку, что там, на воле, 12 часов ночи, в камере пошла по рукам железная кружка с водой, а Окуневская в темноте зашептала для всех, поклявшихся, что никто не будет плакать, по крайней мере вслух, — слышно было, как слезы капали в кружку, — строки Пушкина: «Товарищ, верь!.. Взойдет она...». Все взялись за руки, как единый человеческий комок. «...и на обломках самовластия напишут н-а-ш-и имена...». Кто-то не выдержал, зарыдал. Эх, Александр Сергеевич, знали б вы, что свободу восславляли не только в свой жестокий век, а прихватили и следующий...

Между прочим, среди женщин, сидевших «за любовь», была и моя сестра Светлана. Отбыла срок в 19 лет за то, что в кино с ней позамкомился и проводил до дома французский лейтенант из страны-союзника. Освободилась она тоже по амнистии. С вокзала шла пешком к улице Чайковского. При переходе на Садовом кольце ее на середине

не проезжей части застал красный свет светофора. Было лето. Шоферы кричали: «Ну куда, дура, прешься под колеса!», другие что-то кричали без зла, заигрывая с красивой и странно одетой тенью, в глазах которой стояли слезы. Она плакала, потому что только после шоферских безобидных реплик на том перекрестке поняла, что освободилась, что на воле, на свободе. Освободилась она с подружкой-москвичкой, у которой срок был 15 лет, а отсидела она 9. Ее в лагере звали «куклой», т.к. она плотно завязывала лицо платком, натягивая кожу, и не снимала его (чтобы долгие сохранилась за долгие годы отсыдки). У нее в Москве был жених, он все эти годы писал ей, что любит, ждет, и она этим жила. О том, что освободилась, ему не сообщила, хотела «упасть как с неба», прямо с вокзала к нему... а оказалось, что он уж как четыре года женат, а в лагерь ей писал, чтобы поддержать зэчек в переполненной камере Бутырки в ночь на новый 1950 год, когда узницы вымыли пол, надели чистое белье, выстиранное накануне в полоскательницах. Окуневская была в белой кофточке, кулленной в Вене (тоже ведь сюжет — кофточка-иностранка, а отсидела с русской артисткой по полному сроку, прошла по всем столичным и северным тюрьмам